

ВСЁ ЕЩЁ ВПЕРЕДИ

Шестидесятый год. Меня уже поругивают, но пока только за песни, да и то не в полную силу.

Я — сотрудник «Литгазеты». У меня в редакции маленькая комнатка с письменным столом, диваном и канцелярским шкафом. Кабинет. Если запереть дверь, можно насладиться уединением. На шкафу — гитара. Иногда напеваю друзьям некоторые стихи. Но тянет писать прозу, и не просто прозу, а воспоминания о себе, семнадцатилетнем солдатике с кривыми ножками в обмотках, попавшем на фронт.

Через пятнадцать лет после войны почему-то видел себя смешным и жалким, хотя все вспоминалось достаточно четко. Писал с охотой. О литературных лаврах не помышлял. Некоторые главы читал друзьям по «Литгазете». Все ко мне были добры. Вот я и писал, особенно не напрягаясь: ведь ничего не нужно было выдумывать, изощряться, создавая «прозу». Писал воспоминания. Вот и все.

Правда, рисуя свою фронтовую юность, нет-нет, да и вспомню, как возвышенный урок, то окопы Некрасова, то Симонова, то Быкова, то Бакланова, то Бондарева, все это грозное, трагическое, героическое, кровавое. Вспоминаю, а сам откровенно пишу о кривоногом дурачке, который почему-то не жаждет умереть на поле брани, а хочет жить, жить... Никакие внутренние цензоры меня не корректируют, потому что я пишу не для печати, и это любому понятно. Конечно, любому, кто хлебнул тех лет.

Наконец ставлю точку. Чувствую, что некий весьма расплывчатый сюжет завершен. Сто страниц на машинке. Первая проза в моей жизни! Не «Война и мир» и не «Капитанская дочка», но это моя жизнь! Ну, даже при том, что отсутствует и положительный герой, и что все жалкие и смешные, что ничего «героического» как будто не происходит, но ведь было так! Я не привирал нисколько.

Несколько дней упивался свершенным. Помалкивал. Выжидал. Таил. Затем перепечатал. Поисправлял. И когда ко мне заглянул Боря Балтер — «настоящий» прозаик, ученик самого Константина Георгиевича Паустовского, — я открылся ему. Он не удивился, так как выяснилось, что давно знает о моей работе. «Да все говорят, что ты прозу пишешь». Я говорю: «Не прозу, Боря, а так, всякие воспоминания... Фронтовая юность, Боря... ну, всякое, что вспомнилось... Тоже ведь интересно...» Он сказал неожиданно: «А почитать дашь?» «Господи! — воскликнул я, — конечно, если ты хочешь...» «Ну давай, давай, — сказал он по-деловому, — давай, давай».

Я извлек из ящика стола эти сто страничек. Он взглянул на первые строчки и взял рукопись с собой.

Появился он у меня через неделю. Рукописи при нем не было. Он произнес несколько сдержанно и строго: «Мне понравилось». Я так обрадовался, так обрадовался, что и не пытался этого скрыть. Он улыбнулся и сказал: «Понимаешь, какая штука, я дал эту твою вещь почитать шефу...» «Что?!» — задохнулся я. А ведь шефом он иногда называл Константина Георгиевича! Этого живого классика! «Что? что?!» — выдавил я. «Ну, понимаешь, он прочитал и сказал...» «Он прочитал?!» — крикнул я, обмирая. «Он прочитал, — сказал Боря, — и решил печатать в том виде, как есть, ничего не исправляя и не меняя...»

Он замолчал и с удовольствием разглядывал меня, остолбеневшего.

Потом мы пошли в ресторан «Якорь», что был возле «Литературки», за углом, и выпили там, и Боря сказал, что решено издать такой журнал или, вернее, альманах, такое невероятное по тем времена издание, такое немыслимое, без всякого специального разрешения, без благословения ЦК! Его будет создавать и пробивать группа энтузиастов, и называться этот сборник будет «Тарусские страницы», и над ним будет витать имя Константина Георгиевича, украшая и окрыляя его...

Когда мы выходили из ресторанчика, Боря сказал: «Кстати, шеф поручил мне, то есть он попросил меня, чтобы я привез тебя к нему в Тарусу».

Надеюсь, вы понимаете, что со мною было!

Я вернулся в редакцию. Перечитал хранившийся у меня второй экземпляр. Моя проза!.. Мысль о том, что увижу великого человека, не давала спокойно жить. Я ведь знал его заочно чуть ли не с детства. Его чистая благородная проза сопровождала меня и по мастерству казалась недостижимой. Он был не похож на прочих живых «мастеров»: они были мастерами литературы, а он был богом. И вдруг я к нему войду и он пожмет мою руку?! И скажет: «Здравствуйте»?! И мы будем так просто беседовать?!

И вот мы едем с Борей Балтером в электричке до Серпухова, а там договариваемся с попутным грузовиком, и тридцать километров до Тарусы. Доезжаем. Вылезаем из кузова и идем по тарусской улице. Я очень напряжен. Слева, под косогором, поблескивает Ока. А вот и дом. И Боря заводит меня в палисадничек, и мы входим в дом.

И тут же появляется Константин Георгиевич и... протягивает мне руку!

Прежде чем грянуться об пол, я, пораженный, успеваю заметить, что он невысокого роста, улыбающийся, мягкий, гостеприимный, что он прост и радушен... «Вот вы какой!» — говорит он, и напряжение мгновенно покидает меня.

Через пять минут мы сидим в комнате. Он делает вид, что не замечает моего состояния. Рассказывает какой-то анекдот. Я хохочу. Боря сдержанно посмеивается.

Постепенно съезжаются и другие участники будущего сборника. Все мне знакомы, а уж Коля Панченко и Володя Кобликов — это старые друзья еще по Калуге.

Через час мы сидим за накрытым столом. Выпиваем, закусываем, ну как водится. Разговор идет опять об альманахе. Я — новичок, я помалкиваю. За окнами яркое солнце. Альманах как альманах. Все хорошо. Но воздух насыщен чем-то непривычным, особенным, чем-то тревожным. Как будто какая-то неясная опасность окружает нас, хотя мы и смеемся, и даже похохатываем, и как будто ничего не опасаемся... Люди, пришедшие со мной из тех времен, меня поймут, а тем, что не нюхали того пороха, объяснять сегодня бесполезно.

Кроме меня, никому неизвестного прозаика, да еще В. Максимова, ну В. Кобликова, но были Д. Самойлов, Ю. Трифонов, Б. Слуцкий, Е. Винокуров и, конечно, Н. Заболоцкий... это уже знаменитости и, конечно, сам Константин Георгиевич... Но по тем временам все эти фамилии и многие другие, собранные вместе, уже звучали предосудительно. Что уж говорить о большой подборке стихов М. Цветаевой! Почти преступление. Что говорить об очерках Н. Яковлевой, об этом шитом белыми нитками псевдониме Надежды Яковлевны Мандельштам!

Вот и нет у нас на выход такого альманаха почти никаких надежд, но это «почти», как оно греет нас!

Мы сидим за столом. Оказывается, Константин Георгиевич нездоров, и его жена очень строго следит за ним, и когда мы подымаем очередной бокал, он улыбается ей, и пьет боржом, и украдкой подмигивает нам и даже мне, как старому знакомому.

Мы сидим за столом. Я начинаю ощущать какие-то тайные сигналы. Они возникают и гаснут и тут же возникают вновь. Они — в глазах собравшихся, в интонациях, в жестах. Константин Георгиевич рассказывает какие-то удивительные истории из своей жизни. Мы все то смеемся, то грустим. Солнце склоняется к горизонту. Это тоже похоже на сигнал. В этот момент кто-то подымается из-за стола и благодарит, и все тотчас начинают вставать. «Я провожу вас немного», — говорит хозяин дома, а сам смотрит на жену. «Только, пожалуйста,

недолго. До калитки, пожалуйста», — предупреждает жена. Он кивает очень послушно, и мы вместе покидаем дом.

Выходим за калитку, медленно идем по улице, потом вдруг быстрее, быстрее... Куда это мы все?... «Ну вот, — задыхаясь, шепчет Константин Георгиевич, — теперь давайте побыстрее, а то скоро вечер».

Мы вваливаемся в какой-то дворик, затем огибаем дом и вбегаем в большой полутемный сарай. Все суетятся. Откуда-то сносят стулья, скамейки, столик, на котором выстраиваются бутылки и кое-какая снедь... Вот вам и сигналы! Все благодушны, улыбчивы, слегка озабочены. Откуда-то возникает гитара, и ее вручают мне... К этому я почти привык, но ведь здесь Паустовский!.. Я посматриваю на него исподтишка — он улыбается. В стаканах поблескивает питьё. «Ну давайте», — предлагает Боря Балтер и подымает свой стакан. И больной Паустовский подымает! С опаской поглядывает по сторонам, но подымает и пригубливает!

У меня в те времена и было-то песен восемь-десять. И я очень стараюсь. Все присутствующие их уже знают, но не Паустовский, и я стараюсь, стараюсь...

О чем шел разговор в промежутках между песнями, я не помню: все-таки прошло почти сорок лет. А вот доброе ко мне отношение запомнилось. Чего же больше? Не это ли греет меня до сих пор? Особенно — его взгляд и улыбка.

Таким было наше знакомство.

Альманах «Тарусские страницы» вышел в свет. Проходил он очень трудно. Издание его много раз прерывалось. Партийные чиновники закрывали его, запрещали, чинили всякие препятствия. В самые критические минуты, почти в безвыходных ситуациях вдруг вмешивался Паустовский, звонил помощнику Хрущева Лебедеву. Тот был к «классику» расположен. Вмешивался в тяжбу, и издание со скрипом продолжалось, но вскоре прерывалось снова, и снова Константин Георгиевич с горьким чувством звонил Лебедеву... и снова...

Наконец «Тарусские страницы» вышли тиражом в 75 000 экземпляров! Вспыхнул праздник, но тут же погас, так как стало известно, что по распоряжению сверху основная часть тиража была уничтожена на корню, а оставшиеся 30 000 разрешили продавать с лотков. И ни одного экземпляра — ни в магазины, ни в библиотеки... Но и это был праздник! И на его непривычном фоне казались особенно яркими несколько эпизодов.

Мы собрались в отделе литературы «Литгазеты». Мы — несколько авторов «Тарусских страниц». Щупали свежие номера. Ликовали. Это была по тем временам красивая книжка. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату ворвался литературный критик Григорий Соловьев. Маленький, невзрачный, с бегающими глазками. Он держал в руках наш новенький сборник. Глазки его горели. Он крикнул с порога:

— Ну ребята, это такая книжка, что можно, даже не читая, а только по фамилиям авторов учинить разгром!

Мы молчали. Бывший беспризорник В. Максимов прошипел:

— Ну ты, давай отсюда!..

Вскоре Романа Левиту, редактора этого сборника, сняли с работы за политическую близорукость. Мы, авторы, решили за него заступиться. Написали письмо М. Суслову с требованием нас принять. Но кардинал встретиться с нами не пожелал, а поручил это крупному партийному чиновнику Романову. Нас вызвали. Мы явились. Мы сидели в кабинете перед самим Романовым и ждали, что он скажет.

В глазах его были тоска и недоумение. Он спросил:

— Отчего же вы не понесли свои произведения в «Новый мир», например?

Все молчали. Максимов разъяснил дружелюбно:

— Мы ходили, но они не захотели печатать.

— Ну в «Знамя» сходили бы, — вяло посоветовал Романов.

— Мы пришли к вам, — сказал кто-то из нас, — чтобы спросить, почему сняли с работы Романа Левиту?

— А в «Знамя» почему не ходили? — спросил Романов.

— Были и в «Знамени», — сказал Максимов.

— Кому нужен этот ваш сомнительный сборник? — спросил Романов, глядя мимо нас. — Можно было бы, ну скажем, в «Новый мир»...

— Были в «Новом мире», — резко сказал кто-то из нас, а может, и я.

Наступило молчание. Говорить было нечего. Мне, помнится, было даже смешно. Видимо, нервное.

— А чего же в «Знамя» не понесли? — спросил Романов.

— В «Знамени» тоже были, — сказал Максимов.

Кто-то из нас сказал:

— Нас, собственно, беспокоит судьба редактора сборника. За что его уволили?

Романов долго молчал. Потом сказал:

— Можно было бы и в другие журналы. Вон их у нас сколько...

— Носили, — сказали ему.

— А в «Новый мир»? — спросил он. Он смотрел в сторону. На лице его было страдание. — Или, наконец, в «Знамя»... Пошли бы в «Знамя»...

Оставалось поблагодарить за беседу. Прощаясь, Романов облегченно вздыхал.

Это мне хорошо запомнилось.

И еще.

Вскоре после той первой встречи в Тарусе мы снова встретились там же, хотя не у Константина Георгиевича, а у Н. Оттена — составителя нашего сборника. Кажется — было, как водится, застолье, но мне запомнилась лужайка перед домом, и идет такой возвышенный, счастливый разговор о свершившемся, и вдруг ко мне подходит Надежда Яковлевна Мандельштам — да, да, вдова Осипа Мандельштама! — и говорит мне строго: «Мне чрезвычайно понравилась ваша повесть в сборнике. Боюсь, вы уже никогда ничего лучше не напишете». Я молчу, ошарашенный. Она медленно отходит к остальным гостям.

С тех пор, едва садился за прозу, вспоминал ее пророчество, обливался холодным потом и старался доказать, что она была не права.

Я рассказал об этом Константину Георгиевичу. Он рассмеялся, а после сказал: «О, это необходимо преодолеть...»

В дальнейшем мы встречались с ним не часто, но всегда очень сердечно. Потом его не стало.

На моем столе стоит его фотография. Он улыбается.

Я уже давно не исполняю своих песен, а он продолжает по-отечески улыбаться, как будто все еще впереди...

Март, 1997 г.